**Окуджава**

Слушатели первых песен Окуджавы испытывали ощущение, много позже описанное им самим:

*Музыкант играл на скрипке – я в глаза ему глядел.*

*Я не то чтоб любопытствовал – я по небу летел.*

*Я не то чтобы от скуки – я надеялся понять,*

*Как способны эти руки эти звуки извлекать*

*Из какой-то деревяшки, из каких-то бледных жил,*

*Из какой-то там фантазии, которой он служил?*

Казалось, завораживала только манера исполнения, рассчитанная на слушателей, маленькую комнату, дружеский кружок. Свое душевное волнение мы тогда, в середине 50х годов, менее всего склонны были связывать с качествами поэтической речи Окуджавы: словарь его был прост, рифмы не замысловаты, темы старые, если не старомодны - вера, надежда, любовь, разлука. И еще война…в те годы вряд ли кто мог предложить, что негромкий голос, “камерная” песенка Окуджавы прозвучит когда-нибудь с экрана, эстрады, поднимет на ноги зрительный зал. Почти никто не знал, что перед нами человек, ушедший семнадцатилетним добровольцем (1942) на фронт, что свои песни он начал писать совсем недавно, а до того были ранения, демобилизация, филологический факультет в Тбилисском университете, учительство в Калужской области и первая книжка стихов “Лирика” (Калуга 1956). Окуджава вернулся в Москву только после реабилитации родителей, безвинно репрессированных в 1937 году.

 Он вернулся в 1956-м – в эпоху великого исторического потрясения, внезапно открывшейся бездны общенародной трагедии. До тех пор Окуджава, переживший арест родителей, сиротство, фронт, ранение, - трагизма происходящего по-настоящему не видел, не понимал, он был очерчен замкнутым кругом свехценной социальной идеи, фанатичной, не допускающей сомнений.

 С первых же песен 1957 года Окуджаву запела сначала Москва, а в скоре и вся страна, хотя выступил он одновременно с “громкой” поэзией Е. Евтушенко, А Вознесенского, Р. Рождественского, его обособленность - несомненна. Свои задачи он всегда предпочитал решать сам- вне групповых симпатий, пристрастий, деклараций. Его имя вскоре попало в один ряд с именем А. Галича - и по праву, а потом в один ряд с В. Высоцким. Его аудиторией стал народ, его учителями стали книги Б. Пастернака, А. Ахматовой, А. Твардовского, А. Тарковского, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Э. Т. А. Гофмана, В. Набокова.

 Для поэта, начинавшего со стихов о войне, Окуджава был мало, как сказали бы мы сегодня, информативен: ни воспоминаний о сражениях, ни описания атак. Такие стихотворения, как “Тамань” ( “Год сорок первый. Зябкий туман. Уходят последние солдаты в Тамань”), не были ни известны, ни популярны. Окуджава открыто не обнажал свое авторское “я”.

 Поэтическая метафора Окуджавы означала, что поэт создает свой художественный мир не по законам бытового правдоподобия, но по “образу и духу своему”. Реальная жизнь выступила в резко преображенном виде. Моделью этого мира, где сложно отражались и законы самой жизни, и представления Окуджавы о человеке, стал мир арбатских переулков и дворов. “Ах, Арбат, мой Арбат, ты – мое Отечество, ты и радость моя, и моя беда”, - пел Окуджава, и было ясно, что к образу Арбата стянуты все его эмоциональные и этические представления. В 80е годы в стихах Окуджавы возник образ символ - “арбатство, растворенное в крови” – он напомнил, как шел к нему поэт.

 Поэт искал выверенные временем и жизнью поколений представления об этической норме. Окуджава писал:

*Человек стремится в простоту,*

*Как небесный камень – в пустоту,*

*Медленно сгорает*

*И за последнюю версту*

*Нехотя взирает.*

*Но во глубине его очей*

*Будто бы во глубине ночей*

*Что-то назревает.*

*Время изменяет его внешность,*

*Время усмиряет его нежность,*

*Словно пламя спички на мосту,*

*Гасит красоту.*

Все в этом стихотворении было отмечено “печатью” Окуджавы: и сопряжение “высоты” и “простоты”; и образность восходящая к стилистике городского романса (жизнь – костер, сжигающий огонь.).

*Человек стремится в простоту*

*Через высоту.*

*Главные его учителя*

*Небо и Земля.*

 Поэтические метафоры Окуджавы были новы именно в силу своего двойного притяжения – к Земле и Небу одновременно. Понять можно Окуджаву только при условии, что мы помним о “рабочих пиджаках”, в которые одеты его Дон-Кихоты, о “будничном наряде” его маляров, макающих кисти в “чистое серебро”, о “женщинах соседках”, с утра до ночи занятых “стиркой и шитьем”. Если же мы выстроим художественный мир Окуджавы, откликаясь только на тот слой его образной системы, который реализует метафору: “Мне надо на кого ни будь молиться”, - мы не поймем того серьезного движения, которое непрестанно происходит в его творчестве.

 Окуджава поражал тем, что жаждал не учить, но учиться; не отвечать на вопросы, но решать их со всеми и вслух. С годами стало ясно, что это шло не от возраста, а от склада его поэтического мироощущения: он изначально хотел со переживания, со – чувствования, обьядиняющего всех настроя, совместности.

 В любом произведении Окуджавы мы найдем вопрос, как бы предложенный для всеобщего обсуждения, и одновременно ненавязчиво заявленную собственную позицию:

Мгновенно слово. Короток век.

*Где ж умещается человек?*

*Как, и когда, и в какой глуши*

*Распускаются розы его души?*

Окуджава имел компас, который помогал ему вести читателя по определенному пути. Таким компасом стало его ключевое понятие – надежда. Надежда начиналась не с “гордых гимнов”, а со звуков печальных и простых. Она имела конкретный образ, впрочем меняющийся. Окуджава на разные лады играл с этим словом, поворачивая его то так, то этак. Метафоры менялись; то это была возможность поверить в гибель лучших ребят своего двора; то образ-символ – “веселый барабанщик”; то монументальные “часы любви”. Рассказ о надежде, которая никогда не оставляет человека, стал внутренним сюжетом всех песен Окуджавы.

 Эмоциональный заряд, заключенный в стихах и песнях Окуджавы, был силен необычайно не только по интенсивности переживаемого поэтом чувства, но и по интенсивности устремленного на нас волевого потока. Окуджава имеет свои, не совпадающие с расхожими, представления о жизни. Но многие видели в нем поэта, приподнятого над землей, будто бы раз и навсегда остановившегося на том, что “просто надо очень верить этим синим маякам, и тогда нежданный берег из тумана выйдет к нам”.

 Шли годы. Репутация Окуджавы оставалось устойчивой. Он вошел в состав нашей души.

 Это было прекрасно, потому что помогало жить.

 Но это было и опасно, потому что, успокоившись на том, что Окуджава есть Окуджава, что он неизменно верен себе и нам, мы могли проглядеть серьезные сдвиги в его миропонимании.

 Так и произошло.

 С увлечением, распевая малопонятную, казалось нам, но обаятельную песенку о голубом шарике “Девочка плачет – шарик улетел” (1957), мы почти сначала почти не задумывались над тем, что значил образ голубого шарика в художественном мире Окуджавы. Между тем этот смысл был допроявлен в другом стихотворении тех лет:

*Ах ты, шарик голубой,*

*грустная планета,*

*что ж мы делаем с тобой,*

*для чего все это?!*

*Все мы топчемся в крови,*

*а ведь мы могли бы…*

*Реки, полные любви,*

*по тебе текли бы…*

Образ голубого шарика разрастался до символа. Он опять обратился к образу голубого шарика:

*Земля изрыта вкривь и вкось,*

*ее сквозь выстрелы и пенье*

*я спрашиваю:*

*“Как терпенье?*

*Хватает? не оборвалось?*

*Выслушивать все наши бредни:*

*Кто самый первый , кто последний?..”*

*Она мне шепчет горячо:*

*“Я вас жалею, дурачье!*

*Пока вы топчетесь в крови,*

*пока друг другу глотки рвете,*

*я вся – в тревоге и заботе…*

*изнемогаю от любви!*

*Зерно спалите – морем трав*

*взойду над мором и разрухой,*

*чтоб было чем наполнить брюхо,*

*покуда спорите кто прав”.*

*Мы все трибуны, смельчаки,*

*все для свершений народились,*

*а для нее – озорники,*

*что попросту от рук отбились.*

*Мы для нее, как детвора,*

*что средь двора друг дружку валит*

*и всяк свои игрушки хвалит…*

*Какая долгая игра!*

Опубликованное лишь в конце 80х годов, стихотворение не случайно пролежало так долго в столе: мучившие поэта вопросы приобретали неразрешимо – философский оттенок.